

А. ФАДЕЕВ

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

(Черновые варианты первой редакции романа)

Публикация В. Г. Боборыкина

Богатое собрание материалов, которое относится к работе Фадеева над «Молодой гвардией», хранится в Центральном Государственном архиве литературы и искусства (фонд 1628). Литературоведами изучена лишь небольшая их часть: некоторые из документов, предоставленных писателю ЦК ВЛКСМ, записные книжки, стенограммы публичных выступлений¹. Но самое ценное — те записи, которые вел Фадеев во время своей поездки в Краснодар осенью 1943 г., заметки писателя, объединенные общим заглавием «К плану», черновики первой редакции романа и новых глав, появившихся во второй редакции, — все это до сих пор остается неисследованным.

Ценность этих материалов определяется прежде всего тем, что они позволяют широко ознакомиться с мастерской художника, рассмотреть, как складывались образы романа, его основные сюжетные линии, его композиция. Без их изучения нельзя ответить на многие вопросы, связанные с наиболее сложными, порою даже драматическими моментами творческой истории «Молодой гвардии», те вопросы, что возникают всякий раз, когда разгорается очередная дискуссия, посвященная двум редакциям романа. Черновики содержат немало набросков, которые по разным причинам не вошли в печатный текст, но отличаются значительными художественными достоинствами и поэтому также заслуживают внимания исследователей.

Работу над первой редакцией «Молодой гвардии», если не считать предварительного ознакомления с материалом, Фадеев начал в феврале 1944 г. В то время, как писал он тогда друзьям, его целью было создание небольшой повести. Полгода спустя, когда оставалось дописать несколько глав, автор убедился, что по охвату событий и человеческих судеб повесть перерастает в роман. Ему пришлось заново продумать весь сюжет и вернуться к первым главам, чтобы углубить картины событий, изображенных иногда в слишком очерковой манере. По существу вся работа была начата им сызнова, однако продвигалась она довольно быстро, поскольку писатель использовал крупные куски текста и даже целиком некоторые главы из готовой части рукописи.

Самый ранний вариант «Молодой гвардии» теперь уже трудно выделить из общей массы черновиков, где все наброски, независимо от того, когда они были сделаны, сгруппированы по главам. Но следы его — страницы, сохранившие общую нумерацию и частью перепечатанные на машинке, — можно обнаружить среди черновых вариантов.

В процессе переработки первоначального варианта писатель существенно его дополнил. Наметки этих дополнений и составляют весьма обширное, на сорока страницах, собрание записей «К плану». Они необычайно многообразны по своему характеру. Тут есть и запись таких сравнительно мелких деталей, как: «Тюленин в 4-м классе на уроках выпускал воробьев из-под парты». Есть и портретные зарисовки, и первые завязи целых эпизодов, известных читателю по печатному тексту, и заметки, послужившие основой для ведущих образов, например: «Размышления Шульги в тюрьме. Исповедь души. За „общим и целым“ часто не видно „отдельного“. За „дальним“ ближнего, за „народом“, „человечеством“ отдельного человека. Много суеты, бумаги,

кажущегося, представительского, а на свете важно только одно — *люди, живые люди*».

Некоторые записи касаются построения целых звеньев сюжета. Вот одна из них:

«Найти сюжетную увязку; не тратить специальных глав на изложение отдельных сторон событий, а стремиться завязывать в узел многие и разные стороны в пределах одной и той же главы. В этой связи надо уже в пределах трех-четырех глав, следующих за тем, как Тюленин сжег здание треста, выдвинуть и линию Кошевого и линию Любки. Линия Любки естественно увязывается через Сергея Левашова с сестрами Иванцовыми, а Нина Иванцова — любовь Кошевого».

Продумав таким образом композиционную структуру романа и его сюжетные узлы, Фадеев начал работать над каждой главой со строгой методичностью. Делая первый набросок, он чрезвычайно тщательно выписывал все подробности событий, все, казалось бы, даже несущественные штрихи в поведении героев, все тончайшие оттенки их переживаний.

Дальнейшая работа над текстом чаще всего сводилась к сокращениям и к стилистической правке. Случалось, что первый набросок той или иной главы в целом не удовлетворял писателя. И вслед за первым появлялся столь же детальный второй, за ним третий... пятый... Так получилось, в частности, когда Фадеев работал над 6-й главой романа.

В первом ее варианте очень подробно охарактеризована деятельность красnodонских властей с того момента, как обком партии, временно расположенный в Краснодоне, получил приказ об эвакуации города и передал свои распоряжения низовым организациям. Поскольку эвакуация сопровождалась паникой, характеристика эта оказалась, мягко говоря, неслестной. Хотя писатель и воздавал должное энергии и мужеству многих руководителей, ему пришлось немало горьких слов сказать и о «таких, кто только считался руководителем, а в душе не болел за народ и народное добро, а болел только о своем благополучии».

Во втором варианте писатель устранил подобные критические замечания и попытался разобраться в том, что испытывали настоящие руководители, на долю которых выпало заниматься организацией масс в условиях отступления и катастрофически разрастающейся паники. Здесь же он довольно обстоятельно рассматривал и методы создания подпольных групп, и типичные ошибки, которые при этом допускались. Все это со значительными сокращениями и в смягченном виде было перенесено в 7-ю главу.

Только в третьем варианте 6-й главы появляются те сцены, которые известны читателю по ее печатной редакции. Но они еще не завершены писателем. А в одной из центральных сцен участвует персонаж, которого нет в печатном тексте. Это единомышленник Стеценко — инженер Андреев. Вместе с будущим бургомистром он посматривает из окна на людей, занятых погрузкой трестовского имущества, и вставляет в разговор Стеценко с завхозом Ковалевым свои реплики. Этот эпизод сохранен Фадеевым и в четвертом варианте главы, в котором еще имеется немало разночтений с печатной редакцией. Лишь пятый вариант 6-й главы, также несвободный от многочисленных стилистических и прочих поправок, оказался окончательным.

В процессе такой работы Фадеев нередко исключал из готового текста довольно крупные куски, в том числе и те, которые стоили ему немалых творческих усилий. Такая судьба постигла, в частности, и несколько эпизодов из 4-й, 5-й, 8-й и 10-й глав. Любой из этих эпизодов, демонстрирующих организаторские способности красnodонских комсомольцев, сам по себе вполне реалистичен и убедителен. Писатель ни на минуту не забывает, что при всех своих достоинствах, которые выделяют их из общей массы людей, будущие подпольщики еще очень юны и наивны, и что нередко именно поэтому им удастся сохранить присутствие духа там, где теряют головы и гораздо более опытные организаторы. Но все вместе эти эпизоды невольно приводят к мысли, что комсомольцы оказались едва ли не единственной силой, способной в условиях отступления и паники предпринимать разумные организаторские действия. В новых вариантах тех же глав Фадеев, вместо подобных эпизодов, ввел сцены, где организацией масс и эвакуацией занимаются представители старшего поколения, в частности директор шахты Валько.



А. А. ФАДЕЕВ

Фотография Д. С. Шварцмана, 1946 г.

Литературный музей, Москва

Не вошли в печатный текст и несколько очень примечательных страниц из первого наброска 13-й главы. Повышенное внимание художника в этом наброске к образу военврача Николая Николаевича (позднее он именуется Федором Федоровичем) убеждает, что последнему предназначалась иная роль в сюжете, быть может, даже роль руководителя подполья, которое, по замыслу писателя, очевидно, должно было возникнуть на месте провалившейся группы Шульги и Валько. По-видимому, лишь опасение слишком далеко отойти от известных ему фактов побудило Фадеева отказаться от этого.

Из всех эпизодов, которые почему-либо не вышли за пределы черновых набросков, пожалуй, самое сильное впечатление производит арест лесничего Петрова. Эпизод этот исключен Фадеевым вместе с другими такими же эпизодами, целью которых было показать, что у большинства организаторов молодежного подполья уже очень скоро после прихода оккупантов появились и свои собственные, личные счеты с ними. Вероятно, писатель сделал это, боясь снизить величие подвига молодогоармейцев всякими побочными мотивами их участия в борьбе, выходящими за рамки чисто патриотических побуждений. Возможно, однако, что тут сыграло свою роль и опасение перегрузить роман сходными и содержащими одни и те же детали сценами арестов.

Вторую часть романа Фадеев писал уже в 1945 г., в то время, когда первые его главы печатались на страницах «Комсомольской правды» и журнала «Знамя». Почти все главы этой части давались ему сравнительно легко, тем более, что он создавал их на основе очень обильного документального материала, который, по словам самого писателя, требовал работы главным образом «технического порядка, чтобы как-то это немножко организовать, отбросить лишнее»². Многие главы написаны без черновиков и несут на себе следы весьма незначительной авторской правки. Существенна здесь лишь композиционная перестройка, коснувшаяся нескольких глав. Особенно заметно отразилась она на тех сценах, которые посвящены первым шагам молодежного подполья.

В черновом наброске 32-й главы Фадеев, очевидно, обнаружил ту же ошибку, что была допущена им в первых вариантах 4—10-й глав. Юные подпольщики, собравшиеся на свое организационное совещание, решают сразу столько важных вопросов и обнаруживают при этом такую зрелость мысли и такое тонкое политическое чутье, что это в конце концов становится неправдоподобным. Фадееву пришлось «расформировать» эту главу. Некоторые куски были перенесены в 33-ю главу и в главу 35-ю. Все это разделено теперь поездкой Любы Шевцовой в Ворошиловград, ее встречами, ее беседой с секретарем подпольного обкома, сценами на краснодонском базаре и у биржи труда. В итоге рамки действия оказались значительно расширенными, а судьба юных подпольщиков — связанной с деятельностью областного подполья и с судьбой всего народа на оккупированной земле.

Рукописные черновики первой редакции «Молодой гвардии», испещренные бесчисленным множеством поправок и вставок, завершает машинописный вариант романа. Это окончательный вариант, который был подготовлен писателем к печати и частями, по мере их готовности, передавался им в редакцию. Он также не остался без поправок. Должно быть, уже в самый последний момент Фадеев исключил из него некоторые наиболее резкие высказывания Шульги и Валько в камере краснодонской тюрьмы и Проценко — после разгрома его отряда, изменил начало 24-й главы, которая начиналась с пространного авторского рассуждения о предателях, внес несколько мелких исправлений в сцены эвакуации и, конечно, не упустил случая пройтись пером там, где успел подметить недостатки языка и стиля. Вот примеры таких чисто стилистических исправлений.

В 6-й главе, в сцене прощального разговора Клавды Ковалевой с Ваней Земнуховым были выброшены слова: «Она смотрела на юношу так, как иногда на лугу смотрит на подошедшего пастуха молоденькая уже не телушка, еще не коровка». При всей добродушности этого образа он был неоправданно грубоват.

В характеристике усатого майора, спутника Вани Земнухова и Жоры Арутюнянца, исключено шутовское, мало уместное для драматической обстановки сравнение: «Он молчал упорно и совершенно безнадежно, как деревенский громкоговоритель».

Все черновые варианты романа показывают большую работу Фадеева над стилем. Особенно богаты примерами этой работы те страницы, где писатель раскрывает внут-



ДАЧА А. А. ФАДЕЕВА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ.
ЗДЕСЬ ПИСАТЕЛЬ РАБОТАЛ НАД РОМАНОМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Фотография
Литературный музей, Москва

ренное состояние своих героев. Он всегда стремился уловить и передать динамику их чувств и настроений, и это побуждало его по несколько раз переписывать в поисках нужных слов многие фразы и целые абзацы.

Черновики первой редакции романа составляют около четырех тысяч рукописных и машинописных страниц. Это не менее чем в пять раз превышает объем печатного текста. Можно заключить из этого, какой напряженной работы потребовало от Фадеева создание «Молодой гвардии» — книги, написанной, как утверждают критики, «на одном дыхании». Публикуемые страницы из черновиков создают некоторое представление об этой работе.

То, что эти страницы принадлежат к числу первых набросков каждой из соответствующих глав, подтверждено родственницей и литературным секретарем А. А. Фадеева, Валерией Осиповной Зараханн. По ее словам, все свои записи и черновики писатель тщательно сохранял. В 1952 г. он сам привел в порядок весь свой литературный архив. Варианты каждой главы «Молодой гвардии» были размещены им в порядке их написания.

Данная публикация, разумеется, не исчерпывает всей суммы набросков, которые по разным причинам не вошли ни в одну печатную редакцию романа. Ее составляют лишь самые крупные и наиболее завершенные из таких набросков. Этими двумя признаками и определяется главным образом критерий отбора материала для публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Материалы ЦК ВЛКСМ напечатаны в сборнике документов «Герои Краснодона» (М., «Молодая гвардия», 1943), в книге М. Котова и В. Лясковского «Сердца смелых» (М., «Молодая гвардия», 1944), в сборнике «Молодая гвардия» (Киев, «Молодь», 1961). Записные книжки А. Фадеева опубликованы в Собрании сочинений писателя и использованы в работах К. Зелинского, В. Озерова и др. В статье В. Боборыкина «Варианты одной страницы» («Вопросы литературы», 1962, № 8) подвергнуты текстологическому анализу варианты первой страницы «Молодой гвардии».

² Архив Союза писателей СССР. Стенограмма выступления А. Фадеева в секции прозы СП при обсуждении «Молодой гвардии» в январе 1947 г.

ИЗ ГЛАВЫ ЧЕТВЕРТОЙ

⟨...⟩ Обе подводы, бричка, запряженная буланым конем, и селянская телега с косыми решетками, запряженная гнедыми конями, долго еще пытались маневрировать по степи, обгонять кого можно, делать глубокие объезды в местах, где создавались гигантские пробки. Потом и буланый конек и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы снова выбились на шоссе.

— Нет, я не могу так существовать, я изнываю от безделья! — вскричал Олег, когда подводы вновь остановились в общем застывшем потоке из-за очередной пробки впереди. — Неужто ж никто не может там распорядиться! — и он соскочил с телеги.

— Куда ты? Сиди. Там, брат, товарищ подполковник вот с эдаким маузером и то ничего не может поделать, — сказал дядя Коля своим скучным голосом.

Но Олег побежал вперед. Через некоторое время впереди почувствовалось движение, медленно нараставшее, все более захватывавшее задние звенья. Наконец, тронулись машины впереди. В этот момент и с брички и с телеги увидели Олега на одной из машин, — он стоял на подножке с очень красным, злым лицом и, крича что-то шоферу в кабинке и, как видно, сражаясь с ним одной рукой, другой, преодолевая сопротивление шофера, с силой крутил баранку руля, не давая шоферу свернуть в объезд, чтобы вновь не нарушить порядка.

— Поговори со мной!.. Тебе же лучше будет.... Сам дубина... Кишка, брат, тонка!.. — доносился юношеский басок Олега.

Шофер в кабине ревел что-то страшное.

Наконец, тронулись и бричка и подвода. И все подводы, и люди вокруг, и машины, рыча моторами, медленно поползли по шоссе и справа и слева по степи.

— А ты говоришь — «товарищ подполковник» да еще «вот с таким маузером»! — возбужденно говорил Олег, шагая возле брички, легко неся на широких своих плечах крупную голову с светлым волосом, аккуратно расчесанным на косой пробор. — Товарищу подполковнику небось тоже подмога нужна... Ох, и народик же, — своей пользы не сознает!.. Одному шоферу я-таки посадил дулю. Я не виноват. Я ему эдак интеллигентно, а он меня под ребро, ну я его малость поправил. А он говорит, буду директору треста жаловаться, — вот дубина! Ищи теперь его, директора! — смеялся Олег, от удовольствия и возбуждения даже потирая кончики пальцев.

— Как вы там, товарищи дорогие, еще не спеклись на солнце? — сказал он, отстав и поравнявшись с телегой, невольно ища глазами Улю.

— И правда, лучше пешком, чем эдак ползти! — сказал Виктор, соскочив с телеги.

За ним соскочил Анатолий, потом к ним примкнул дядя Коля. На подводе остались возница и Марина с ребенком да отец Виктора и Уля.

ИЗ ГЛАВЫ ПЯТОЙ

⟨...⟩ С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов, но самолетов не было видно. Но все почувствовали себя неуверенно и растерянно, когда раздались впереди сотрясавшие воздух гулкие бомбовые удары. Всем стало ясно, что немец бомбит наши части, отступающие с того берега Донца на Каменск. С некоторыми паузами эти страшные бомбовые удары повторялись все чаще. Иногда видны были впереди делавшие круг, уходящие низом, должно быть отбомбившись, немецкие пикировщики. «А что им стоит в следующий раз сделать круг подальше и ринуться на

нас, ведь мы в степи, как на ладони?» — невольно думал каждый из людей в колонне.

Там, над Донцом и Каменском, невидные отсюда, а только слышимые, развертывались воздушные бои.

Отец Виктора Петрова, с момента выхода из дому и до этого рассвета державшийся очень спокойно и не делившийся со своими молодыми спутниками сомнениями, возникавшими в душе его, вдруг помрачнел и, избегая встречаться глазами с сыном и Анатолием и с Улей, все молчал. А колонна продолжала медленно и теперь уже почти безостановочно двигаться к Каменску.

Солнце снова стало палить. В каком-то хуторе с высыпавшими из хат женщинами, детьми, стариками, со страхом, сочувствием и слезами наблюдавшими это движение машин, подвод и людей, колонна снова остановилась. Олег Кошевой по обыкновению, оставив подводу со своим молодым дядей и хорошенькой тетей, присоединился к товарищам.

Отец Петрова, вынув со дна гарбы в задке ведро, пошел к колодцу, чтобы напоить лошадей. Валько, Григорий Ильич и другие шахтеры поспрыгивали с машины и тоже побежали к колодцу — напиться. На полпути они и отец Петрова остановились и начали совещаться.

— Отец, конечно, маху дал, надо было сразу ехать на Лихую, — сказал Виктор, поглядывая то на Анатолия, то на Улю синими глазами, которые, несмотря на бессонную ночь и на мрачный смысл того, о чем он говорил, не могли скрыть своего жизнерадостного, деятельного выражения.

— Надеялся проскочить. Все так думали, — сказал Анатолий, не желая осуждать отца своего приятеля.

— Если они подошли к Каменску, переправиться через Донец не только невозможно, а и бессмысленно. Ясно, что они будут двигаться не только по железной дороге, а распространятся по всему пространству за Донцом... Там ровная степь, у них танки, моторизованные части, где ж нам их обогнать на наших лошадках!

Виктор считал себя военным человеком, и он действительно был им в душе. В доме у него висела увеличенная с маленькой, им самим вычерченная карта фронтов, на которой он ежедневно переставлял флажки согласно сводке, он всегда строил планы предстоящих операций Красной Армии и противника, объяснял, где и почему создается угрожающее или выигрышное положение для нас, в школе он руководил военным кружком и кружком физкультуры, прекрасно знал строй и был отличным стрелком.

— Как ты думаешь, Олег? — обратился он к Кошевому, единственному человеку, за которым по прежнему знакомству с ним по стрельбищу он признавал некоторый военный авторитет.

— Я думаю, нам сейчас уже поздно об этом думать, а надо делать все, что мы в силах, для того, чтобы уйти. Что бы там ни было, мы не можем оставаться под немцем. Мы должны уйти и, значит, мы уйдем, вот что я думаю, — сказал Олег и глубокие не по возрасту складки тяжелого раздумья легли на его лбу у переносицы.

— Если бы двинули прямо на Белокалитвенскую, может быть проскочили, а там где-нибудь сели бы на поезд и в Сталинград, — рассуждал Виктор. Что-то подсказывало ему, что план немцев не может сводиться к тому, чтобы играть вперегонки с краснодонскими беженцами, и он добавил: — А еще верней, надо было бы держать на Новочеркасск. Но если учесть, что немцы могут ударить и, может быть, ударили из Таганрога на Ростов, а дороги забиты, мы могли бы и там не успеть. Одним словом, не журись, Улечка, — сказал он и с очень жизнерадостной улыбкой, не соответствовавшей его словам, посмотрел на Улино, сильно загоревшее за вчерашний день, строго-спокойное и неотразимо прекрасное с этими черными в длинных ресницах глазами лицо.

Уля молча смотрела на детишек, нахохлившихся на грузовике и на подводах, на девушек-руководительниц, которые от усталости на любой остановке валились куда попало и спали, на женщину — заведующую домом в этих ее пропылившихся насквозь резиновых ботах. Она всю дорогу шла пешком, и, казалось, донецкое солнце иссушило ее до того, что в ней не осталось уже ничего человеческого. Она все делала машинально, все время молчала и в немигающих глазах ее было потугстороннее, не здешнего мира выражение.

— Как решили, папа? — спросил Виктор у отца, когда тот вернулся с ведром, полным воды.

Отец Виктора, став между голов коней, спиной к дышлу, так, чтобы не дать правому залезть мордой в ведро и мешать пить левому, поднес ведро с водой коню, шедшему слева в дышле. Конь, прядая ушами с белой меткой на правом, слышно, со свистом всасывал воду и глотал ее с нутряным слышным звуком, а его напарник справа, горбоносый гнедой конь с налившимися кровью глазами, нетерпеливо переступал копытами, мордой толкал отца Виктора, чтобы тот допустил его до воды.

— Решили ехать дальше, — мрачно сказал он и, словно чувствуя себя в чем-то виноватым, добавил: — Все едут.

По мере приближения к Каменску движение колонны заметно ускорилося и грузовик шахты № 1-бис теперь мог бы далеко обогнать и детский дом и подводы, на которых ехали Уля и Кошевой, но за то время, что они следовали вместе, они договорились не разлучаться, пока не минет опасность, и они продолжали вместе медленно двигаться вперед, обгоняемые другими машинами. Впрочем и машина-фургон, везшая тяжело-раненых, по-прежнему не разлучалась с ними, — она не могла ехать быстро.

Время уже близилось к полудню, и судя по тому, что звуки стрельбы впереди были уже так слышны, точно бой шел уже в самой голове колонны, и по тому, что теперь все чаще видны были самолеты свои и противника, выходившие из боя, разгоравшегося где-то под Донцом, — они уже были под самым Каменском.

— Смотрите, смотрите, куда это они свернули? — вдруг воскликнул Виктор Петров, обладавший орлиным зрением, все время напряженно поглядывавший вперед.

Все обернулись в направлении, куда указывал Петров, и впервые увидели голову той колонны, в которой они следовали почти сутки. Они увидели ее потому, что они, как и вся эта задняя часть колонны, ехали еще по шоссе, а голова колонны и ее длинное толстое туловище свернули уже куда-то вправо и двигались прямо по степи.

— Значит, правда, не пускают в Каменск, — сказал Анатолий.

— И правильно делают. Мне было совершенно ясно, что мы двигались в самое пекло боя, — сказал Вита.

Вскоре они приблизились к воинской заставе, человек около 12, с двумя ручными пулеметами, выставленными на шоссе, и двумя номерами при них, — это и была та самая застава, которая не пустила колонну в Каменск и заставила ее свернуть вправо. Среди бойцов заставы была одна девушка.

Командир заставы, старший лейтенант, сильно белесый, красный от солнца и от напряжения, молодой парень, был уже так зол на то, что ему приходилось уже должно быть в течение многих часов кричать на людей и все новые люди обращались к нему со все теми же вопросами и на них снова приходилось кричать, — что отец Виктора Петрова уже не рискнул обращаться к нему, а обратился к девушке.

— Куда вы нас свернули, через Каменск нельзя что ли?

— На Лихую, тышу раз говорено — на Лихую, — сказала она устало.

— А ежели мы в Каменск не поедем, а немного южнее через железную дорогу, да прямо на Донец? — рискнул все-таки спросить отец Виктора.

— Взрослый человек, а глупости говорите, — так же устало сказала девушка. — За Донцом немцы, чего ж вы там не видали на Донце? Вам один путь на Белокалитвенскую... Коли успеете, — добавила она.

Отец Виктора хотел еще что-то спросить, но в это время они уже съехали на степь в составе этой огромной и совершенно бессмысленной колонны подвод и машин, и застава осталась где-то позади слева.

Олег Кошевой, шагавший рядом с подводой, вдруг обернулся к товарищам. Лицо его было взволновано.

— А вы понимаете, — сказал он, — что если все это правда, то они, эти люди, эта девушка, и вся эта застава, и те, что сражаются сейчас в Каменске, и те автоматчики, что шли вчера за нами, и Каюткин, все они уже обреченные и сами знают, что они обреченные?

Он смотрел то на Улю, то на Анатолия, то на Виктора своими светлыми по-детски ясными глазами, и эта мысль о том, что люди сознательно обрекли себя на смерть ради того, чтобы было спасено что-то гораздо более важное и ценное, чем жизнь всех этих людей, видно, наполнила его таким глубоким волнением, что в этих глазах его было столько выражено душевной муки, вопроса, жалости, вдохновения, и где-то в нижней части его лица, то ли в подбородке, то ли в губах с этим запомнившимся Уле выражением силы, что-то подрагивало *.

Виктор также серьезно и молча оглянулся на него, и вдруг все они трое притихли. Молчал и отец Виктора. В этот момент они впервые поняли, что им не вырваться из немецкого кольца, концы которого — одни, движущиеся где-то на юге, а другие уже даже не на северо-востоке, а на востоке — неумолимо должны были сомкнуться **.

ИЗ ГЛАВЫ ВОСЬМОЙ

... — Де ж чоловик твой, Лиза? — спрашивал Лынько ***.

— Ох, да вы ж не знаете! Он же умер, как раз накануне объявления войны в прошлом году, умер, он все болел и умер, — несколько раз повторила она: видно было, что смерть мужа, к которой она было привыкла, вдруг снова предстала перед ней во всем своем горьком значении именно теперь в эти тяжелые дни. — Ах, Матвей Константинович, вы теперь тоже стали из людей власти, если бы вы знали, как тяжело нам, простым людям, ведь вы же власть считалась наша, для простых людей, а оказалось, что вам дороже машины, вещи, всякие бумаги, да чиновники, — как подумаю, извините меня, как вы и брат мой тогда боролись за правду, а на что вышло? Всякая сволочь выезжала отсюда, мебель с собой везла, целые грузовики барахла, а кому какое дело было до нас, простых людей, обывателей, как вы говорите, — говорила она, снова возбуждаясь. — А потом удивляюсь, что есть такие люди, что идут к немцу служить, а я так не удивляюсь, — человек натерпелся, разуверился во всем, вот и идет, думает лучше будет...

Такого рода разговоры Лынько уже не раз слышал во время войны, он знал, что в минуты отчаяния и иступления так могут сказать и вполне свои, хорошие и верные люди, но он знал, что на этих внешних, непригляд-

* Рядом, на обороте предыдущего листа: Уля снова вспоминает Каюткина, прощание с ним. Ей вдруг становится совершенно ясным, что Каюткин погибнет.

** Рядом, на обороте предыдущего листа: А мы? — вот какой вопрос встал перед каждым из них!

*** Так в первых вариантах именовался Шульга.

ных и страшных, действительных и мнимых сторонах великого поражения и бегства играют враги, именно они стараются подсунуть такой взгляд всем, и ему вдруг горько стало, что это говорит Лиза Рыбалова — та женщина, которую он знал девушкой, полной отваги и доверия, и к которой он — чего греха таить — был равнодушен. И это вдруг покорило Лынько и обидело его.

— Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, уже до службы у немцев договорились, — сказал он. — Жалко... — Он запнулся. — Очень жалко.

— Я вам не говорила, что я пойду служить, — еще больше распаляясь от того, что он ее так понял, резко говорила Елизавета Алексеевна, — но во мне мать говорит, у меня сын... обождите, — вдруг сказала она, оборвав сама себя, и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в соседней комнате.

И Лынько тоже прислушался.

В соседней комнате наступила тишина, хотя там находилось пять человек, и именно эта тишина подсказала матери, что там что-то происходит. Она мгновенно забыла о том, что у нее сидит человек, и, резко вскочив, прошла к сыну. Лынько понял, что ему, видно, надо уходить, и, хмуро сминая своими большими, поросшими волосом сильными руками кепку, вышел в переднюю <...>*

А между тем вот что происходило пред тем, как Матвей Лынько пришел в этот домик к Осьмухиным, и что развернулось на его глазах, чего он, к сожалению, не понял.

В течение всех последних дней и особенно этим утром, когда началась спешная эвакуация учреждений и организаций, все больше перераставшая в панику, девятнадцатилетний юноша-комсомолец Ваня Земнухов, живший на той же улице, что и Осьмухины, не бросился бежать, очертя голову, а, как и еще многие комсомольцы, помогал собирать, организовывать и эвакуировать школьников младших классов. Несмотря на то, что еще не все школьники были эвакуированы, отдел народного образования этим утром как-то сам собой рассосался, учителя потеряли голову, дети плакали, а родители тоже плакали вместе с детьми и всему мешали, несмотря на это Ваня Земнухов добыл около пяти подвод, на которых оставшиеся дети могли бы ехать хотя бы по очереди, и сумел собрать детей, и, когда учителя увидели, что все получается, они тоже стали помогать ему. Никто не поручал этой работы Ване Земнухову. Наоборот, он больше чем кто-либо другой имел право давным-давно уйти из города. Сам он окончил школу им. Горького перед войной в 1941 году — это была центральная большая школа, помещавшаяся**

Как ни тяжело было бросить родителей на попечение сестры, но и сам Ваня и его родители понимали, что Ване нельзя было оставаться под немцем, — он был видным активным комсомольцем в городе, оставаться было не только рискованно, но ему и нельзя было жертвовать государственной работой для своих родителей, поэтому Ваня давно уже должен был уехать. Но он не мог уехать, потому что он вырос и учился в этом городе, всех знал, и ему жалко было ребят и противно было смотреть, как многие люди не умеют ничего организовать и дело проваливается, а другие заботятся только о себе, и он охотно согласился на просьбу дирекции школы помочь организации дела. Но раз он взялся помогать школе имени Горького, ему пришлось как человеку вхожему в городские организации и человеку настойчивому и хладнокровному помогать и школе имени Ворошилова,

* Опущено несколько страниц, очень близких к печатному тексту, рассказывающих о прощании товарищей с Володией Осьмухиным и об уходе Лынько из квартиры Осьмухиных.

** Фраза не закончена.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Сергей Тюленин — артист С. Гурзов

Производство киностудии им. М. Горького, Москва, 1948 г.

от которой он жил почти совсем рядом, а раз уж он занялся этим, ему пришлось вместе с другими комсомольцами помогать эвакуировать имущество клуба имени Ленина и клуба имени Горького и детской больницы, которая уже один раз была эвакуирована в 1941 году, но возродилась снова, поскольку дети продолжали болеть и в 1942 году, а немец все не приходил.

В течение этих дней все уже привыкли видеть, как он, невзирая на окружающую сумятицу и спешку, неторопливой, своей чуть развалистой походкой и без головного убора шагал то в райисполком, то в райком комсомола, то в трест, то в одну из школ. Его темно-русые, длинные прямые волосы, зачесанные назад, никогда не держались при ходьбе, распадались, падали на лицо, и он всегда откидывал их движением головы, а, если уж очень торопился, завязывал узелки по углам носового платка и напояливал его вместо губетейки на затылок <...> *

— До свидания, Клава, — решительно сказал Ваня и неловко пожал Клавину плотную, как карасик, руку и вдруг покраснел так, что все лицо его, шея, уши, все побагровело.

— До свиданья, — беззвучно сказала она и, вдруг отвернувшись, убежала в калитку.

Отец пошел вслед за ней. Ваня повернулся уже уходить, как Клава вдруг снова вынеслась из калитки, как ветер. Она подбежала к нему и, схватив его за руки, быстро, так что он не успел покраснеть, склонившись к само-

* Опущено несколько страниц, очень близких к печатному тексту, содержащих, в частности, сцену прощания Вани Земнухова с Клавой Ковалевой, перенесенную в печатном тексте в седьмую главу.

му его лицу и обдавая его дыханием, как с парного молочка, страстно * прошептала:

— Я горжусь тобой, я не могу тебе передать, как я горжусь тобой, я... — и она так же стремительно убежала.

После этого уже все на свете было уже не страшным, он все мог сделать, он мог бы эвакуировать весь город с женщинами, детьми и стариками и со всеми их манатками. Люди в исступлении бежали, плакали, ругались, шли войска, слышались раскаты орудийных залпов, рвали шахты, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в небе и солнце немилосердно палило, а Ваня все чувствовал на лице своем это молочное дыхание, слышал этот жаркий шопот и готов был перевернуть весь свет ради этой милой русой головки и этих добрых нежных рук, плотных, как карасики. Вот что он видел. Она едет с отцом и матерью на бричке, среди толпы народа, она уже в полной безопасности и она слышит, как в толпе только и говорят: «Мы бы все пропали, если бы не он. Немцы уже вот-вот, и все нас побросали, и только он не бросил и всех организовал и всех вывел и, когда стали немцы приближаться, он сказал войскам — тут вместе с нами шла часть Красной Армии — пусть они идут, а мы прикроем их своими телами, а командир сказал, что они должны идти и он не имеет права оставаться ради мирного населения, у него есть приказ командования, а он ему сказал — ваша обязанность защищать слабых, командование только наградит вас за это, дайте мне оружие, я сам поведу вас, и он взял автомат, и пошел впереди всех против наступающих немцев». «А он жив?» — спросила она. — «Мы не знаем, потому что мы ушли и вот теперь в безопасности, а он остался». И он представлял себе, как она будет волноваться, если он погибнет, но он не погибнет, он будет только ранен, и Жора Арутюнянц и командир и все красноармейцы будут везти его на подводе, и они нагонят Клаву, она узнает его, и он видел, как ее лицо с этими мыслями, чуть косоватыми глазами склоняется над ним: «Я горжусь тобой, я горжусь тобой», — жарко говорит она, обдавая его своим молочным дыханием и... Дальше он уже не мог думать, потому что его физически мутило от любви. Ему было 19 лет <...>

ИЗ ГЛАВЫ ДЕСЯТОЙ

Олег был моложе не только Вани, но и Жоры, но они были ученики одной школы, члены одной комсомольской организации, и какая это была радость встретиться здесь, в таких условиях, своим людям! А с Ваней Земнуховым Олега связывали еще более прочные интимные узы. Они оба писали стихи. Они состояли в одном литературном кружке. Они вместе редактировали школьный журнал «Парус» и школьный «Крокодил». Они, можно сказать, были товарищами по оружию.

Тут подошли Анатолий и Виктор, и их Ваня тоже знал. Он знал всех комсомольцев в городе, потому что он был видный комсомольский активист. Он сразу увидел на возу Ульяну Громову и кинулся к ней, — ведь они оба были когда-то пионервожатыми.

И вот их оказалось вместе шесть краснодонских комсомольцев, здесь, в условиях этого дьявольского табора, где чёрт знает что творится, где по нескольку раз на сутки бомбят, где валяются неубранные трупы, плачут дети, но разве есть на свете что-нибудь, что они не могут преодолеть, когда они вместе, и есть ли на свете, чёрт возьми, что-нибудь сильнее, святее, прекраснее дружбы!

И все то, что, пока они были порознь, сгущалось над ними, как темная туча, все это вдруг рассеялось, и не было уже ничего страшного в этом таборе, и у всех стало бодро и весело на душе.

* В рукописи очевидная описка: страшно

— Ай и добре ж, Иван, шо мы с тобой зустрились,— чуть заикаясь весело говорил Олег: все ученики краснодонских школ одинаково владели и русским и украинским языком, так как проходили оба языка в школе и жили среди смешанного населения, но Олег в минуты радостного состояния и юмора всегда переходил на украинский, так как этот язык был его родным языком.— Та с такими хлопцами, як той Жора, та Анатолий, та Виктор, да с такой гарной дивчиной, як та красавица Уля, мы увесь свит перевернемо, ей-богу!.. — веселился он, сияя своими большими детскими глазами и сплошными ровными, как подобранными зубами.— Нет, правда, тут мало порядка на этой переправе, Ваня! Ты же старый организатор, ну-ка прикинь мозгами, может быть, мы что-нибудь и организуем.

— Ох, горячи ребята. Вот горячи! — говорил старый цыган Валько, глядя на них с грузовика.— То свои ребята, добрые ребята, — говорил он, обращаясь к Григорию Ильичу Шевцову, который сидел на краю грузовика и, держа на одном колене голубоглазую девочку, поил ее из кружки молочком, раздобытым им ночью на ближнем хуторе.— То свои ребята, да уж больно наивный народ. Вони думают, шо вони тут щось организуют, а я вже охрип на той переправе, переругавшись с тем комендантом.

— Ты, может, и охрип, а они и вправду организуют, — спокойно сказал Григорий Ильич.

Он сам не знал почему, но за эти дни совместного пути, он, скромный и застенчивый человек, Григорий Ильич, стал относиться к своему директору, человеку, которого он все эти годы ставил так высоко, — стал относиться к нему без всякого уважения.

Та исключительная жажда деятельности, желание проявления всех своих сил, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность с тем, чтобы внести в это что-то более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием, эта не вполне осмысленная, но охватывающая все его существо и составляющая основу его натуры внутренняя сила овладела Олегом, и сразу все, что попало в орбиту этой силы, завертелось вокруг него.

Его прехорошенькая черненькая хохлушка-тетушка уже должна была варить обед «на всю громаду», дядя Коля, который был всего года на четыре старше своего племянника, и Виктор Петров были направлены на ближайший хутор наломать дров из заплота, Уля сама вызвалась помогать «тете Марине», а Олег, Ваня, Жора и Анатолий Попов вчетвером направились через этот бесконечный табор к реке «пошуровать на счет переправы».

— Нет, ведь это же чёрт и что! — ругался Олег, во главе своих товарищей пробираясь между машин и подвод.— А ведь пустяка стоит привести все это в порядок...

— Верно, — сказал Жора, который всегда стоял за порядок.

— Вот оно что значит — организация! — с уважением подчеркнув это слово, сказал Олег заикаясь.— А ты говоришь — стихи, — улыбнулся он Ване.— Главная сила на свете — это сила организованности, без нее все распускается вот как вязаная ткань — надрывается и все по ниточкам ползет...

— Организовать-то некому, люди меняются, — сказал Анатолий.

— Как некому? — взволновался Олег.— Ну, ты подумай только — вот Валько. У него шахта в сутки по несколько тысяч тонн угля давала, — ведь это же какой требовало организации, — а сейчас вот он сидит в машине, как цаца, и ждет у моря погоды. Вот, брат, какая странная психология у людей! А сколько их тут, в этом месиве, таких людей. Да он бы пошел к одному, к другому на пробу, сказал, — давайте по крайней мере все машины вытянем в несколько рядов, голова в хвост, а подводы отдельно, сделаем старших по колоннам. Старших — из тех, что не скоро очередь, а очередь приближается, передавать другому, кому-нибудь из вновь

прибывших, в хвосте? А как же иначе? Подумай, сколько порядку бы стало.

— Верно,— сказал Жора.

— А потом ведь есть же люди постоянные, военные на переправе, ведь им же от этого беспорядка хуже,— от них и должна инициатива идти.

— Если бы бомбежек не было,— сказал Ваня.— Где бомбежка, там паника и сразу весь порядок нарушается...

— Да здесь уже можно было бы на несколько тысяч человек щелей нарыть... Другие нарыли и никуда не бегут,— не унимался Олег.— И, честное слово, я сейчас договорюсь с этим комендантом, пусть только поддержит своим авторитетом, мы тут порядок наведем. А что думаешь, не наведем? — спрашивал он, живо поблескивая своими большими глазами то на одного, то на другого из своих товарищей.

Незаметно для него самого и для них он уже шел среди них, как вожак, и советовался с ними, как со своим штабом, и никому из них не казалось это неестественным <...>

ИЗ ГЛАВЫ ТРИНАДЦАТОЙ *

<...> Я никогда не предполагал быть военным врачом. Когда началась прошлая война с немцами, вы еще тогда не родились, я был мобилизован как молодой врач, только что окончивший институт. Я прошел всю первую войну с начала до конца, к концу войны я был начальником санитарного поезда, врач-офицер. Последнюю партию раненых я эвакуировал в Сибирь в 1918 году, когда уже была Советская власть, но я попал в Сибирь как раз в те месяцы, когда там совершился переворот и к власти пришли белые. Я был врач-офицер, я сгрузил своих раненых в госпиталь, и вместе с санитарным поездом был снова мобилизован на фронт, уже со стороны белых. Это был единственный случай, когда я имел право уйти, потому что большая война кончилась, и я сдал последних раненых. Но я не ушел, потому что я был врач-офицер, и меня окружала та среда, из которой я вышел, и я думал, что я должен выполнить свой долг перед родиной. И снова тысячи раненых прошли через мои руки, потому что я ездил со своим поездом около года, пока не попал в плен к красным. Собственно говоря, мог бы не попасть в плен, т. е. лично у меня и у моего персонала была возможность уйти, бросив поезд. Но я не мог уйти, потому что поезд был полон раненых. Я попал в плен к красным в январе 1920 года в городе Владивостоке, когда там случился переворот, большевистский переворот.

Меня вызвали в военный совет и сказали:

— Вы служили у белых, т. е. лечили людей, которые сражались против своих же русских людей, к тому же против народа, за власть господ. Теперь вам предстоит лечить людей из среды самого народа, взявших в руки оружие для того, чтобы добиться счастливой жизни,— они обращают свое оружие против господ. Но этого мало. Вы будете сражаться за свое отечество против всех его врагов. На Дальнем Востоке таким врагом были в это время японцы. И я снова сгрузил своих раненых в госпиталь и остался служить. И снова сотни и тысячи раненых прошли через мои руки. Во время японского выступления 4—5 апреля 1920 года мой поезд оказался отрезанным на участке между Спасском и Хабаровском. На этом же участке сосредоточилась тогда вся приморская армия, и стоял вопрос, что ей, возможно, придется выходить через тайгу, в обход Хабаровска. Кроме

* Печатаемый отрывок представляет собою рассказ военврача Николая Николаевича (в окончательном тексте — Федора Федоровича) Сережке Тюленину и Витьке Лукьянченко, пришедшим к нему с предложением помочь разместить раненых по квартирам.

санитарного поезда, все госпитали в г. Имане — тогда там помещался штаб фронта — находились в моем ведении: около тысячи раненых. Они-то не могли идти с армией!

Я предложил первый <выход> *: остаться раненым на месте, — разумеется, я должен был остаться с ними. Этот выход был отвергнут: японцы не щадят раненых. Обо мне уже нечего было и говорить. Тогда я предложил другой выход. Договориться с китайскими властями, — там граница находится в нескольких километрах — чтобы они взяли раненых на свое попечение, — разумеется вместе со мной. Это предложение было принято. Я договорился с китайскими властями, но к счастью мы избежали этой необходимости: было заключено перемирие с японцами.

Так я провоевал со своим санитарным поездом на Дальнем Востоке до конца 1922 года. И мне уже было ясно, что я не буду ученым, а всю жизнь буду военным врачом. Так я остался в кадрах армии. Я воевал в 1929 году против бело-китайцев, и снова против японцев у озера Хасан и на Халхин-голе. Я участвовал в походе за освобождение западных областей Украины, в Финской кампании 1939—1940 года и сейчас воюю с первых дней войны. Значит, мне уже не впервой оставаться при раненых. Вот я хотел, чтобы вы всё это знали, — сказал Николай Николаевич и в первый раз за все время их разговора улыбнулся и снова пожал руку Сережке и Витьке.

Они вышли от него полные гордости за него, за себя, за свой поступок. Он снискал их любовь и преданность до конца жизни — не только своей судьбою, а тем, что он совершенно естественно разговаривал с ними, как равный с равными. Они чувствовали, что он не притворялся, не снисходил до них, не приседал перед ними, а действительно чувствовал себя, как равный с равными. Если бы они знали, какую роль сыграет уже очень скоро эта их дружба, что от этой дружбы будут зависеть жизни и судьба тысяч молодых людей, они были бы еще более счастливы и горды собой и Николаем Николаевичем.

ИЗ ГЛАВЫ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

<...> ** — Ты вот что, Любка, — вдруг сказал он, хмуро посмотрев из-под сросшихся черных бровей на Любу, молча и неподвижно лежавшую на кровати, — так тебе лежать негоже, да и не время. Как бы ни было велико твое горе, да время для всех самое суровое и горькое: и горе горюй, а надо дело делать, — времени нам не отпущено.

— А что? — спросила Любка, не обернувшись к нему.

— Пусть нас мать твоя извинит, а ты вставай: мне надо с тобой поговорить наедине.

Любка некоторое время еще лежала так, неподвижно глядя перед собой. Потом она повернула окаменевшее лицо свое к Валько, некоторое время смотрела на него, и постепенно жизнь вошла в лицо ее. Она встала, оправила кофточку и волосы.

— Мама, засвети там, — сказала она.

Они оставили мать плакать наедине в большой горнице, а сами прошли в меньшую комнату, раньше служившую спальней комнатой Григория Ильича и.... ***. Тут они разговаривали около двух часов вполголоса, почти шепотом.

— У вас сени сквозные? — спросил Валько.

— Сквозные, — чуть слышно отвечала Любка.

* первый — вписано вместо зачеркнутого: два выхода

** На предыдущих страницах рассказывалось, как Валько, вернувшись в Краснодар после неудачной попытки эвакуироваться, пришел в дом Шевцовых.

*** Имя матери Любки во многих местах рукописи пропущено и заменено многоточием.

Стандартный дом, в котором они жили, был несколько иного типа, чем домики в центре города. Он, как и другие домики в этом районе, был разделен на две квартиры коридором, имевшим два входа — с улицы и со двора. Валько важно было знать, сможет ли он уйти, если с улицы постучат чужие.

— Мне у вас оставаться нельзя, дом ваш на самом проходе, и всякий час могут немцы прийти, да и свои сразу узнают, — говорил Валько. — Но мне и уйти некуда до той поры, как я себе квартиры не сыщу. В этом ты мне должна помочь... — он испытующе смотрел на нее.

— Что нужно, я все сделаю, — ответила она чуть слышно. Видно было, что она больше думает о горе своем, но все же было в ее всегда таком живом, а теперь окаменевшем лице что-то такое ясное, твердое и верное, что Валько говорил с ней начистоту и знал, что, как ни тяжело ей, она слушает его и сделает все, что он ни прикажет ей, и на нее можно положиться.

— У вас там над сараем есть вроде такой чердачок? — спросил Валько.

— Есть. Соседи там сено держали.

— А соседи где сейчас?

— Эвакуировались...

— Ночью сейчас вряд ли ты что сможешь сделать, да и жаль мне тебя пускать в таком настроении, — сказал Валько, — а нужно мне вот что: пойди завтра к Ивану Кондратовичу, расскажи ему все, что случилось, и скажи, что я у вас, и попроси найти мне, у кого я могу схватиться. Сам пусть сюда не приходит, а пусть договорится с человеком и тебе укажет, и ты меня завтра, как стемнеет, проводишь. А я вот с тобой переговорю, а потом залезу на тот чердак и просплю там до завтрашнего вечера, а вы уж с матерью до меня туда не лазьте. Поняла меня? Повтори...

— Поняла... — и Любка, глядя на Валько сосредоточенными в себе невидящими глазами, шепотом повторила все, что Валько сказал ей.

— Правильно поняла... — Некоторое время он изучающе смотрел на лицо ее, которое, утратив свою обычную подвижность, стало даже некрасивым, но более значительным. И только теперь стало видно, что мать передала ей свои губы, большие, чуть искривленные, со складкой горя в углах рта, губы женщины из народа, изведавшей много горя и труда, и эти губы по контрасту с голубыми глазами и вздернутым носиком вбалмошной девушки как раз и придавали лицу Любки это необыкновенное выражение, которое обычно останавливало на себе внимание даже случайно увидевшего Любку человека. — Ты здесь оставлена нашими для работы, — сказал Валько, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него и как сразу изменилось ее лицо, — то я сразу понял, когда мне мать твоя рассказывала про тебя и про тех немцев.

Любка сделала движение рукой и издала звук, будто хотела опровергнуть предположение Валько. Но он остановил ее, подняв свою тяжелую руку.

— Не трудись, — сказал он, — кто тебя оставил и для какой работы, про то я тебя не спрашиваю и николи не спрошу, и ты мне того ни подтверждать, ни опровергать не должна, да и права на то не имеешь, а я говорю это к тому, чтобы ты мне тоже помогала. Я, как от вас уйду, до тебя уже не дотянусь, — по городу мне ходить опасно, — а ты будешь ко мне наведываться. Кто знает, — при случае и я тебе буду полезным.

Любка с удивлением смотрела на смуглого цыгана Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Но он был всю жизнь так высоко, а Любка была внизу. Но сейчас она была удивлена его проникательностью. И она сердцем поняла, что действительно этому человеку она может не опровергать его догадки. На этого человека она могла целиком и полностью положиться.

— Я сделаю все, что вы мне скажете, — серьезно сказала она.

После того Валько подробно стал расспрашивать о немцах — как они пришли, какие войска, где и у кого стояли, что делали, говорили, назначили ли уже какое-нибудь подобие властей, — этого Любка, как и большинство людей в городе, еще не знала, — какие творили бесчинства, кого арестовали, кого ограбили, кого убили, какие издали приказы или афиши. Потом он стал расспрашивать, какие из известных Любке коммунистов не успели уйти из города или вернулись с дороги так же, как и он, и кто из известных ей стахановцев и старых рабочих в городе, и сказал, что это будет второе задание его — узнавать всякими путями и способами об этих людях и как их можно найти и сообщать ему.

Короткая южная ночь уже была на исходе, когда он прекратил свои расспросы. Они снова вышли в большую комнату, где все в том же положении у стола сидела мать и плакала тихо, беззвучно, без надрыда и плечи у нее не дрожали, слезы сами лились, лились из глаз ее.

Она собрала Валько еды на весь завтрашний день и дала ему рядом, чтобы он мог его расстелить на сеновале. Потом Любка вышла вместе с ним и помогла ему найти и поставить лестницу, чтобы он влез на сеновал, и, когда он залез, унесла эту лестницу в другой угол двора.

Он остался один в темноте на чердаке этого маленького досчатого сарайчика и вспомнил все, что пережил за эти дни, и снова его сердце сжалось горем совершившегося — не за себя, а за весь город, за всю страну. А сам он был удовлетворен результатами разговора с Любкой и тем, что предстояло ему сделать: он стоял на верном пути и в жизни его появилась определенность. И тут перед ним встало лицо его жены и его ребят, из которых младшего он помнил еще грудным, — семья его с начала войны эвакуировалась в Саратов, и он так еще и не видел ее, и та единственная надежда увидеть их, которая так согревала его во всех трудностях эвакуации, потому что он должен был бы, если бы он успел эвакуироваться, попасть именно в Саратов, куда назначено было прибыть тресту «Краснодонуголь» и всем его шахтоуправлениям, — эта надежда теперь рухнула надолго. Перед ним встало лицо его жены и ребят и особенно этого младшего грудного мальчика с отцовскими черными глазами, беззубым ртом и неосмысленно лукавой, беспомощной, неопределенной и трогательной улыбкой, — и на душе его разлилось тепло, он почувствовал нечеловеческую усталость и, натянув на себя край расстеленного на остатках прошлогоднего сена рядна, крепко уснул.

А мать и дочь, оставшись одни, потушили ночник в большой горнице и перешли в спальню, и там при свете коптилки, обнявшись, они проплакали на кровати до рассвета. Они были такие разные — мать тихая, ровная, добрая, а Любка смелая, громкая, стремительная, вся, как огонь, но теперь горе сравнивало их. Они ни о чем не говорили, а только плакали, обнявшись. Любка плакала то громко навзрыд, то немного успокаивалась и опять начинала плакать, вздрагивая плечами, всхлипывая, а мать плакала беззвучно и неподвижно, слезы сами собой лились и лились из глаз ее. С той поры, как Любка стала все более сознавать себя, она все более дружила с отцом, который не только любил, но учил ее и сам учился с ней и становился все более передовым и известным в городе человеком, и Любка гордилась им, а к матери своей, которая, как сложились к своему замужеству, такой и осталась на всю жизнь, тихая, работящая, домоседка и домохозяйка, не знавшая грамоты и не могшая усвоить грамоту, когда сначала муж, потом дочь пытались научить ее, к матери она была привязана бессознательной, еще детской привязанностью. Теперь горе сблизило их, но горе их было различное. Любка плакала об отце как о лучшем друге-наставнике, который никогда уже не приголубит и не накажет ее и не укажет ей, как поступить в том или другом случае

жизни, Любка осталась в жизни одна, причем осталась в такой момент ее жизни, когда больше чем когда-либо ей нужна была поддержка. То, что отец уехал, не так — по смелому характеру ее — ее беспокоило и волновало, ей достаточно было знать, что он где-то существует, что он помнит о ней, что она еще увидит его. И вот теперь уже только она одна могла все решить за себя, она была душевно одинока в той борьбе, которая предстояла ей в жизни, и Любка плакала об этом.

А мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь женщины, уже была кончена, и она вспоминала эту жизнь, которая с юных лет, когда еще она служила прислугой в Царицыне, теперь Сталинграде, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на речном пароходе и они встречались где-нибудь на пристани или в городском саду украдкой лишь на несколько минут, пока грузился пароход, на котором служил Григорий Ильич, — вся ее жизнь с той поры была связана с Григорьем Ильичем. Она вспомнила, как трудно им было сначала, когда они поженились, как она уже перестала работать прислугой, а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии, и они много скитались и жили трудно, да еще у одни за другими были неудачные роды. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и Григорий Ильич все лучше усваивал шахтерскую профессию, и вот появилась радость их жизни, Любка, и Григорий Ильич, словно окрыленный, все больше и больше шел в гору, и вот о нем стали писать в газетах как о знатном забойщике и дали им эту квартиру из трех комнат, и в дом их пришел зажиток, и оба они радовались тому, что Любка их растет как царевна — все, что она хотела в жизни, все она уже могла иметь. И всему этому пришел конец. Самое ужасное было то, что только то обстоятельство, что Григорий Ильич находился среди отступавшей Советской власти и Красной Армии, поддерживало в надежду, что и Советская власть и Красная Армия все-таки когда-нибудь вернутся и вся жизнь пойдет по-прежнему. Теперь же, когда муж погиб, казалось, что уже ничто не в силах вернуть Советскую власть и Красную Армию, все, все уже было кончено и не могло вновь воскреснуть к жизни. В этом убеждали ее и та неслыханная, невиданная мощь германской армии, которую она, простая, тихая, неграмотная женщина, вдруг увидела своими глазами и ужаснулась настолько, что эта мощь казалась ей теперь неодолимой. И вот муж погиб, и они остались вдвоем с дочкой, сама она неграмотная, уже больная и без всякой профессии, и дочка, взбалмошная и хотя вопреки всему, что предоставляли ей в жизни родители ее, не так уж привередливая, а предприимчивая и привычная к труду, чему она обязана была, главным образом, отцу своему, но все же без должности, без профессии, без определенного пути в жизни, — вот они остались вдвоем, без всяких надежд на будущее, без опоры в жизни, без средств, и все найденное у них каждую минуту могло быть отнято, а если и не отнято, теперь они сами должны были лишиться всего этого, продать для того, чтобы жить. И чем темнее, безнадежней и ужасней казалась ей жизнь, которая предстояла им, тем прекрасней, светлее и душевней выглядела вся ее жизнь с Григорьем Ильичем и с Любой, особенно все последние годы перед войной. И от переживания этой светлой жизни в прошлом и ужасного представления будущего так, сами собой, лились и лились слезы из кротких глаз <...>

ИЗ ГЛАВЫ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

<...> Здесь, у Марфы Корниенко, и обосновал на долгие недели свой штаб предприимчивый Иван Федорович. По профессии он был столяр. Нарезный, вернувшийся на свой хутор, прислал ему инструмент с внуком.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

На вечере в доме культуры

В центре Люба Шевцова — артистка И. Макарова,

слева Ваня Землужов — артист Б. Битюков

Производство киностудии им. М. Горького, Москва, 1948 г.

Иван Федорович для отвода глаз заключил с Марфой договор о том, что она сдает ему половину хаты под столярную мастерскую, и договор этот они зарегистрировали у старосты. Иван Федорович выдал себя за мастера из Ворошиловграда, покинувшего город из-за тяжелого продовольственного положения.

Иван Федорович сам был глубоко народный человек и много встречал в своей жизни прекрасных людей в народе, но никогда еще ни один человек на земле, с которым бы сводила его судьба накоротке в таких суровых и тяжелых условиях жизни, не относился с такой сестринской и материнской заботой и нежностью к нему и к жене его, как Марфа Корниенко.

Не раз он глядел на нее благодарными глазами, от душевной размягченности даже резвая искорка не прыгала в его глазах, и он с удивлением говорил ей по-русски.

— Дивлюсь я на тебя, Марфа, сколько у тебя детей, а ты нас спрятали и на все идешь, неужто же ты не боишься за себя и за них.

— Не боюсь, — твердо говорила она, прямо глядя на него своими черными молодыми глазами. — Пусть рубят голову. Не боюсь. Знать буду, за что пойду на смерть. А вы мне тоже скажите, — говорила она, — вы с нашими, с теми, что на фронте, связь отсюда имеете?

— Имеем, — отвечал Иван Федорович, имея в виду не себя лично.

— Так скажите же нашим, пусть воны дерутся до конца. Пусть наши мужья себя не жалеют. Я так скажу, — твердо говорила она с убежденностью простой честной женщины, — пусть даже наш батько, — она говорила «наш батько» как бы от лица своих детей, имея в виду мужа, — пусть наш батько не вернется, пусть он сложит голову в бою, лишь бы пришла наша ридна власть, бо я знаю, що вона буде отцом моим детям.

Так говорила она с твердым блеском в глазах, и никогда Иван Федорович не видел на глазах ее ни слезинки, потому что Марфа не знала, что такое слезы.

— Ты чула? — спрашивал потом Иван Федорович Катю. — Видать наши, те, что организовали такие дрянные явки, да с такими фокусами, читали Нат Пинкертон, а не наши большевистские книги. Иначе они организовали бы их прежде всего у Марфы, да у Нарезного.

Иван Федорович понимал, что не все люди на селе думали так же, как Марфа, не все имели такую стойкую и чистую душу.

По случайности в этом же селе у дальней родни, в большом забросе проживал теперь тот самый дед из Краснодона, который возил Олега и его родню и вернулся из неудачной эвакуации. Дед вынужден был прибиться к дальней своей родне, потому что самые худшие его предположения о немцах оказались справедливыми. Первая же партия немецких солдат, остановившихся проходом в его хибарке, на утро свела его лошада и бричку. Теперь он частенько захаживал к мастеровому из города потолковать о делах, потому что он сам считал себя городским человеком и отвык от селян. Фамилия деда была <нрзб>, и после увода лошади он мрачно смотрел на будущее.

— Ось, бачишь, як воно дило. Три з лишним тиждня шло вийско. Велика сила пройшла. Красни тепер не вернуться. Та що балакать, як вже бои идуть за Волгою, пид Куйбышвым, Москва окружена, Ленинград взят. Гитлер казав, що Москву визьме измором, — говорил дед, добросовестно повторяя все слухи, распространяемые немцами. Но при этом он так вопросительно смотрел на Ивана Федоровича, что ясно было, что он сам в этом сомневается, а говорит так, чтобы Иван Федорович еще раз опроверг эти слухи и укрепил деда в его сомнениях.

Нельзя сказать, чтобы у Ивана Федоровича было много столярной работы на этом хуторе. Но тем более оснований у него было говорить всем и каждому, что он работает по всем окрестным хуторам и станицам, и это давало возможность Ивану Федоровичу без всякого подозрения с чьей-либо стороны отлучаться на несколько дней. Так разыскал он многих людей из отряда, кому удалось остаться в живых. Теперь главной явочной квартирой был дом Нарезного в другом хуторе. Связными работали и сам Нарезный, и внук его, и Катя, опростившаяся в одежде и в прическе, как жена столяра.

При первой же возможности Иван Федорович вместе с Нарезным переправился через Донец, чтобы установить связь с базой. Здесь их постиг едва ли не самый тяжелый удар, более тяжелый, чем разгром отряда. База была раскрыта, и все запасы продовольствия, оружия, боеприпасов или увезены или растащены, — этого уже нельзя было узнать. И газик-музиги, на который Иван Федорович возлагал столько надежд, тоже был угнан. А куда делись люди, остававшиеся на базе, этого тоже уже нельзя было узнать, потому что ни Иван Федорович, ни Нарезный не рискнули обратиться с этим вопросом к незнакомым людям в незнакомых им казачьих станицах другой области.

Но это только укрепляло Ивана Федоровича в новом плане организации, все более кристаллизовавшемся в его голове: нужно было создавать небольшие оперативные группы, диверсионные, агитаторские и всякие иные, люди в которых собираются ненадолго для выполнения задания и мгновенно расходятся по своему месту жительства и месту работы.

Теперь ему нужно было знать, как обстоят дела по всей области, он работал территориально на слишком ограниченном участке. Надо было проникнуть в Ворошиловград и связаться с городским подпольем. Теперь в этом столяре с окладистой мягкой темной бородой вряд ли кто-нибудь в городе признал бы Проценко.

Марфа сложила ему еды в котомку. Оставив Катю ей на попечение, вооружившись посошком и выдавая себя по крайней мере за пятидесятилетнего, Иван Федорович направил свой путь в Ворошиловград. И след его затерялся на много недель среди следов тысяч и тысяч советских людей, бродивших в ту пору по лицу родной земли.

ИЗ ГЛАВЫ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Как мучительно ни тяжел был произвол немецких солдат и офицеров при этом непрерывном потоке двигавшихся на фронт основных масс немецких войск, как ни страшны были эти непрерывно меняющиеся, по-разному глупые и жестокие и капризные воюющие немцы от самого рядового солдата до барона фон Венцель, с их внезапными проявлениями насилия, воровства, животности, — но все это было ничто по сравнению с тем ужасным в своей обыденности, в своей бессмысленной, беспросветной, тупой жестокости режимом мирного существования в условиях восточной провинции великого германского «рейха», режимом, установившимся после того, как фронт откатился далеко-далеко на восток и юго-восток, и, казалось, укрепившимся уже навечно*.

То, что этот фронт находился очень далеко, местные жители знали потому, что уже во второй половине августа снялись из Краснодона тылы немецких армий — штабы, интендантства, ушел тыловой автопарк и повсюду были сняты зенитки.

Теперь краснодонский городской парк был снова свободен для гулянья. И барон фон Венцель со своим адъютантом и денщиком с палевыми веснушками покинул дом Кошевых и тоже выехал на восток.

То, что фронт где-то существует, жителям было известно по тому, что в направлении на восток, по железным и грунтовым дорогам на поездах и на машинах подавались боеприпасы, вооружение, продовольствие и двигались части на подкрепление, теперь, главным образом, румыны. И непрерывно гнали с востока на запад в пешем порядке большие или меньшие группы, иногда целые колонны измученных, голодных, изнуренных жарой и жаждой, оборванных, избитых советских военнопленных. Он, этот фронт, существовал где-то очень далеко. По слухам, которые складывались со слов военнопленных и из разговоров неприятельских солдат, было известно, что сданы Краснодар, Пятигорск, Майкоп, идут бои где-то в районе Моздока и в районе Прохладной. Уже упоминался Сталинград — то ли бои шли подле Сталинграда, то ли в самом городе.

Единственная газета на украинском языке, выходившая в Ворошиловграде, «Нове життя», писала, что советский фронт развалился и против немцев бьются на востоке одни калмыки во главе с англичанами. По улицам и на базарах расклеивались крупные, на добротной бумаге плакаты с фотографиями, изображавшими немецкие танки на Невском проспекте, немецких офицеров на пляже у Петропавловской крепости, немецких солдат, прогуливающихся с русскими девушками по набережной Сталинграда.

Распространялись слухи о том, что Москва тоже взята.

И в городе так же прочно, как бы на всю жизнь, укрепились власти, — их все знали, их уже никто не путал.

Была комендатура — она занималась теперь только проходящими воинскими частями, и вместо штурмфюрера Штоббе там сидел какой-то малый офицерский чин. Был жандармский пункт во главе с хауптват-майстером Брюкнер. Была команда СС при жандармском пункте во

* Сбоку первого абзаца, на полях, приписка автора: Возможно, что придется перенести в начало 26-й главы.

главе с унтер-офицером Фенбонгом. Была полиция во главе с начальником полиции Соликовским. Была городская управа во главе с бургомистром Стеценко.....*.

Сергей Левашов говорил: «Они загребают таким частым гребнем, тысячами, и правых и виноватых». Да, им было это безразлично.

И вот как это началось.

Ночью раздался страшный стук в дверь домика лесничего Петрова на хуторе Погорелом.

Виктор и отец его, узнав у матери Анатолия в тот день, когда они вернулись из неудачной эвакуации, узнав у матери Анатолия, что на хуторе немцев нет, вернулись к родным. На хуторе оставались мать Виктора и младшая его сестренка. И так они жили около трех недель, и никто их не трогал, хотя на хутор приезжали представители немецкой сельскохозяйственной администрации, сопровождаемые каким-то русским агрономом.

И вдруг ночью раздался этот страшный стук. Его услышали все в доме. Мать Виктора, натянув платье, босыми ногами подошла к сеним и, не решаясь открыть дверь даже в сени, громко стала спрашивать:

— Кто там?

— Откройте... Полиция... — сказал кто-то по русски.

Дети, спавшие в этой же комнате, тоже проснулись и всё слышали.

— Полиция... — сказала мать страшным шёпотом, войдя в спальню к мужу.

Но он уже одевался в темноте.

— Зажги свет, — сказал он как-то слишком спокойно.

В дверь так сильно заколотили, что казалось она вот-вот вылетит.

— Витя! — крикнул отец из спальни. — Крикни им, пусть подождут, пока мы оденемся.

В такие минуты мельчайший оттенок смысла слов любимых доходит необычайно. Отец сказал: «пока мы оденемся».

Несколько дней тому назад у Виктора был разговор с Анатолием Поповым, из какого-то разговора Виктор понял, что Анатолий каким-то путем связан с подпольной организацией. Анатолий спросил его, согласен ли он, Виктор, помогать организации, и Виктор согласился с превеликой охотой, потому что он все время мечтал о подобного рода деятельности. Теперь первой его мыслью было, что немцы уже как-то дознались об этом и пришли за ним. Потом, что они пришли за ним и отцом. Но по какому-то оттенку в голосе отца он понял, что отец имел в виду не то, что заберут их обоих, сына и отца, а отец хотел, чтобы все в доме при аресте были одеты, чтобы не было так унижительно, когда стоишь не одетый перед лицом насильников. И Виктор быстро сказал сестре:

— Наташа! Одевайся, быстро...

А сам, уже одеваясь на ходу, подошел к двери и крикнул:

— Сейчас, сейчас!.. Оденемся и откроем...

— Открывай, не разговаривай! — заговорил кто-то за дверью.

— Ничего, обождете, — сказал Виктор: он был прямой, смелый, самодлюбивый.

Они засветили лампы в обеих комнатах и все оделись. И тогда отец открыл двери в сени и из сеней на улицу.

В комнату, стуча ботинками, вошли немецкий сержант жандармской службы с револьвером в руке, солдат с ружьем наизготовку и русский с револьвером и гранатами у пояса, лицо которого нельзя было рассмотреть из-за низко надвинутой на глаза кепки, — в сапогах и с повязкой на рукаве, какие носила русская полиция на немецкой службе.

* В рукописи пропуск, обозначенный многоточием.

Они вошли, и немецкий солдат сразу застыл с ружьем наизготовку. А немецкий сержант быстро прошел к двери в другую комнату, заглянул в нее, присел, чтобы издали заглянуть под кровать, и, убедившись, что в комнате никого нет, обернулся и так и остался стоять спиной к двери в ту комнату с револьвером наизготовку.

В это время русский полицейский спросил, здесь ли живет Петров, назвав его имя, отчество и служебное звание.

Виктор сыновней мужественной и нежной любовью любил отца: отец всегда был освещен для него ореолом своего участия в борьбе против немцев и белых в те давние года, которые для всех молодых людей подернуты были легендарной героической дымкой, он уважал отца и дружил с ним.

И теперь его большее и острее всего пронзило, как отец держал себя. Крупное сильное мясистое лицо отца побледнело, но в нем было выражение, полное достоинства, и в могучей осанке отца было даже что-то горделивое.

— По чьему распоряжению вы меня арестовываете и за что? — спросил отец.

Полицейский грубо ответил, что никаких объяснений ему не будет дано и что ему вообще придется отвыкнуть от этих «жидобольшевистских» правил и привычек.

Тогда, не оспаривая его, отец тихим, но твердым голосом спросил, что он может взять с собой.

Полицейский сказал, чтобы ничего не брал, кроме смены белья.



КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Молодогвардейцы шьют знамя. Слева направо: Уля Громова — Н. Мордюкова, Ваня Земнухов — Б. Битюков, Валя Борц — Л. Шагалова, Жора Арутюнянц — Г. Мгеладзе, Люба Шевцова — И. Макарова, Олег Кошевой — В. Иванов, Сергей Тюленин — С. Гурзо
Производство киностудии им. М. Горького, Москва, 1948 г.

С тем обостренным вниманием, которое было у Виктора ко всему, он понял, что отец и раньше был готов к этому и теперь, когда это совершилось, в нем, в отце, проснулись самые лучшие и сильные стороны его натуры.

И мать даже удивила его. Она тоже не плакала, она только вся вытянулась и побледнела. И у нее сильно дрожали руки, пока она собрала ему белье и поест и завязала все это в узелок.

Пока она собирала ему, немецкий сержант и полицейский произвели обыск в квартире: Перерыли постели, сундуки, шкапы и не взяли ни одной бумаги, ни одного документа, а только связали в два узла теплые вещи — не только отцовские, а главным образом женские и детские, золотой подстаканник и ложечку, новые наташины ботинки с высокой шнуровкой и серебряный портсигар отца. Они взяли бы еще больше, но у Петровых больше не было ничего ценного.

Наступила минута прощания. Мать отдала отцу узелок, и в это мгновение ее точно толкнуло к нему, но она только на мгновение прижалась к его груди, а он, держа в одной руке узелок, другой своей большой жилистой рукой на мгновение прижал ее к груди. Они не смотрели друг другу в лицо. Мать сразу отпрянула. Она не плакала.

Эта сцена произвела на Виктора такое неотразимое действие, что при всем том, что он старался держаться мужественно, слезы брызнули из глаз его. Он не решился подойти к отцу проститься, чтобы не разреветься навзрыд. Сестра, Наташа, вдруг зарывав, кинулась к отцу на шею и, обвив обеими руками эту сильную шею, повиснув на ней, громко рыдала, приговаривая:

— Не уходи, не уходи... Нельзя... Мама!.. Нельзя же. Что же вы ничего не делаете? Витя!..

Отец придерживал ее одной рукой и ничего не говорил, и в том, как он держал ее, и в выражении его лица появилась какая-то беспомощность. И в то же время видно было, что он старался не поддаваться расслабленности.

Немцу-сержанту прискучила вся эта сцена. Он шагнул к Петрову, обхватил обеими руками, в одной из которых был револьвер, Наташу за плечи и, с силой оторвав ее, отшвырнул в сторону, она упала на пол, но тотчас же вскочила, плача, сжав кулачки. Мать обняла ее и повлекла в сторону.

— Прощай, Витя, — сказал отец и протянул руку сыну.

Виктор молча взял эту руку, слезы душили его. Он припал к руке отца губами. Отец высвободил руку, погладил сына по голове и, твердо ступая, вышел в сени. Немецкий солдат вышел за ним, за солдатом сержант, за сержантом полицейский. Виктор кинулся за ними. Он хотел увидеть, как отца поведут и куда. Но полицейский вдруг свирепо огрызнулся:

— Куда? У, щенок! Никто не смеет выходить до самого утра!

И они вышли.

Виктор обождал несколько минут и все-таки выбежал на улицу. Убывающий месяц, уже склонившийся на закат, освещал крыши домиков хутора. Возле чернел лес, казавшийся гуще, чем он был на самом деле. На улице было пустынно. Но в тишине ночи слышно было, как у строений лесхоза кто-то крутил ручку, стараясь завести мотор грузовика. Казалось, там кто-то разговаривает вполголоса. Мотор завелся, зарокотал, мелькнул приглушенный свет фар.

Виктор не помнил, как он очутился возле самых строений лесхоза, должно быть, он пробежал это расстояние, не особенно заботясь о том, чтобы остаться незамеченным. Но он успел увидеть только, как этот грузовик, полный людей, среди которых были и вооруженные, свернул за

перекресток в степь. Двое людей, русских, обменявшись какими-то замечаниями, вошли в контору лесхоза, хлопнув дверью. А Виктор, прижавшись к стене конторы, еще постоял и слушал, как гудит, удаляясь, мотор в степи. Он все же долго еще был слышен в тишине ночи. Потом все стихло. Только какой-то приглушенный, тихий шелест и шорох доносятся из-за леса. Это Донец катился.

Виктор очнулся через некоторое время. Все лицо его было в слезах. Ему все равно было теперь, увидят ли его, задержат ли, он готов был очутиться вместе с отцом, он даже не подумал о том, что мать и сестра будут волноваться его исчезновением, — он должен был узнать, куда повезли отца, что с ним будет, он должен был сделать все, чтобы освободить отца.

Через некоторое время он уже шагал по степной дороге в сторону Краснодона, куда увезли отца.

Уже светало, когда он постучался в оконце к Анатолию Попову <...>

ИЗ ГЛАВЫ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ *

...По щелочкам слабого света из-за затемнения Олег и Валя догадались, что у Туркеничей еще не все спят. Но только Олег постучал в окно, коптилку сразу задули и в домике произошло какое-то замешательство. Прошло некоторое время, пока младшая из сестер Туркеничей Оля, жена пограничника из Молдавии, с началом войны, когда муж ее пропал без вести, жившая у родителей, — довольно смело спросила из-за окна:

— Что надо?

По предварительному уговору с Олегом, чтобы не пугать, отозвалась одна Валя.

За окном послышалось возбужденное восклицание. Чиркнула спичка, и снова проступили из-за краев затемнения полоски света, и через мгновение Оля выбежала на крыльцо.

— Скорей заходи... Это кто с тобой? — испуганно спросила она. — А, Олег!

Ваня Туркенич стоял посреди комнаты возле матери своей, рослой, худой, сильной кости женщины, по своим годам еще не такой старой на вид.

— Ого, и Олег!.. Все-таки вспомнила? Догадалась? — говорил Туркенич, крепко пожимая руки Вале и Олегу своими тонкими сильными пальцами.

Старшая сестра его Валя, еще незамужняя, сидела на скамье, откинувшись к подоконнику, — обе сестры были рослые, сильные, в мать. Василий Игнатьевич отдыхал в другой горнице.

— Какими судьбами занесло тебя? Рассказывай! Рассказывай все по порядку, все-все, что случилось после того, как был у нас, все что делается там, у нас, где фронт, где армия, все-все, — с волнением говорил Олег, так и впившись сверкающими глазами в Туркенича, который был теперь для него не только верным старшим товарищем-комсомольцем, каким он всегда знал его, но и живым представителем (связью) того советского мира (строя, образа жизни), в котором они жили, росли и который был теперь так далеко от них.

И тут Олег и Валя выслушали целую повесть жизни, одну из тех повестей жизни, какую могли рассказать сотни тысяч и миллионы советских людей, из тех, что остались живы, вырванные ураганом великой войны из родных гнезд, проделавших взад-вперед сотни и тысячи километров по

* Публикуемый отрывок соответствует по содержанию 29-й главе печатного текста первой редакции.

немыслимым путям-дорогам, прошедших пески и воды, огонь и смерть и изведавших такие физические и нравственные муки, какие не снились отцам и дедам и прадедам.

Туркенич из Сталинграда в качестве командира батареи противотанковых орудий вместе со своим полком, куда он был назначен по окончании курсов, был брошен на встречу вражеским танкам, прорвавшимся на Дон. Здесь, у Калача, имея приказ стоять на смерть, он отбивал атаки неисчислимых танков, до тех пор пока все оружейные расчеты не выбыли из строя и сам он, Туркенич, не свалился на обгавленную кровью донскую землю, раненный в нескольких местах. Здесь он — с остатками своих артиллеристов и разрозненных групп пехотинцев попал в плен, и так как он был ранен и не мог идти, он был пристрелен немецким лейтенантом, командиром взвода, пленившего их, но он не был дострелен, он только притворился мертвым и, когда немцы ушли, с трудом, истекший кровью, дополз до казачьего хутора, где ему дали приют, вылечили и, снарядив как обычного колхозника, направили на путь к дому. Где были свои, до каких мест дошла немецкая армия, Туркенич теперь не знал.

Он еще больше похудел, по сравнению с тем, как они его знали, будто высох на солнце, возмужал, повзрослел. Но в мужественном лице его, как и в лицах многих людей сходной судьбы, не было ни ожесточения, ни такого выражения, будто это сломило его, нет, в светлых глазах его было выражение знания, недоступного другим людям, — он точно стал мудрее, спокойней. Он говорил:

— Как ни тяжело было нам отбиваться от танков, ничего я не испытал тяжелее, как этот путь от Дона до дому, под немцем. Шел самыми глухими местами, прячась и от немцев, и от полицаев, и от любого встречного, — ведь не узнаешь, свой ли человек или нет. Не мало видел я народу и такого, что порастерялись, потеряли лицо свое, видел и таких, что опустились до подлостей. Но буду умирать, вспомню тех женок, да стариков, да мальцов, что прятали меня, берегли, кормили, поддерживали своим добрым словом, — дай им жизнь счастья, — не за то, что выручили меня, а за то, что имеют такую душу! — глядя перед собой ясными, сухими глазами, с чувством сказал Туркенич.

Он помолчал немного, и все помолчали. Потом он спросил:

— Ну, а у вас тут как? Рассказывайте и вы.

Олег рассказал ему все, что можно было рассказать при родных его. Потом они пошли провожать домой Валу, а на обратном пути Олег рассказал ему и то, что не знала Валя. По характеру расспросов Туркенича Олег понял, что Туркенич не собирается просто отсидеться в родном городе, чтобы сохранить свою жизнь, а ищет той же деятельности, которой жаждал Олег. Туркенич был парень взрослый, комсомолец с опытом, на курсах вступивший в партию, к тому же он был командир Красной Армии, — это была новая, свежая, деятельная сила.

Олег свел Туркенича с Ваней Земнуховым — они и раньше знали друг друга по школе и по комсомолу — и с Сережей Тюлениным, и они все четверо быстро нашли общий язык и сдружились. Через Нину Иванцову и Любку Олег довел до сведения дяди Андрея, что появился этот новый парень, и Туркенич был первым среди молодых людей, кому Валько в новой своей роли руководителя краснодонского подполья назначил личное свидание.

При всей ловкости и сноровистости Сережки Тюленина ему до сих пор не удалось установить контакта с кем-либо из людей, связанных с краснодонским немецким жандармским пунктом и полицией, и узнать, кто сидит в краснодонской тюрьме и каким путем можно оказать им помощь. В Краснодоне были люди, в определенные дни носившие даже передачу своим арестованным родственникам, но при ближайшем выяснении ока-

звалось, что это были невинно пострадавшие люди, и Сережка опасался что-либо выведать через них, боясь провалить себя и все дело.

Валько при свидании с Туркеничем предложил ему найти среди известных ему людей таких, на кого можно было бы положиться как на самого себя, и какие согласились бы пойти на службу в немецкую полицию с тем, чтобы все разведать и помочь организовать побег своих людей из тюрьмы.

В эти дни в Краснодоне объявился еще один активный комсомолец, учившийся в школе имени Ворошилова и с детских лет известный Володе Осьмухину и Толе Орлову, — Евгений Стахович*. Его знал и Ваня Земнухов, потому что Ваня знал всех активных комсомольцев в городе. Евгений Стахович произвел на всех ребят сильное впечатление, потому что это был первый парень их возраста, т. е. еще школьного возраста, прошедший курсы комсомольских работников в Ворошиловграде, уже отведавший порошу в партизанской борьбе, — он очень подробно и правдиво рассказал ребятам о действиях партизанского отряда, в котором участвовал <...> И Женья Стахович стал пятым членом того руководящего содружества, которое Туркенич создал на совет по выполнению задания, полученного им от дяди Андрея.

В самом деле, это была могучая пятерка. В этом своем составе они знали почти всю молодежь города. И после взвешивания той и другой кандидатур, их выбор остановился на двух неразлучных приятелях, беспартийных и некомсомольцах, но по всем данным вполне своих ребятах — Анатолии Ковалеве и Васе Пирожке. Оба они учились в школе имени Горького и были хорошо известны и Туркеничу, и Земнухову, и Олегу как ребята очень смелые, физически развитые и склонные ко всем авантюрным делам — не в плохом, а в том благородном смысле, какой обретает в юных душах страсть к приключениям и путешествиям под влиянием прочитанных романов <...>

ИЗ ГЛАВЫ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

<...>** Они стояли, построившись в шеренгу, и вечернее красное сентябрьское солнце, бившее в окна, освещало их загорелые мужественные и все еще детские лица, каждое из которых по-своему отражало необычайное душевное волнение. Каждый из них, начиная с Олега Кошевого и кончая Стаховичем, и даже такие отчаянной смелости ребята, как Сергей Тюленин и Любовь Шевцова, выходя перед строем, бледнели, и голос, произносивший клятву, подымался до высшей звенящей ноты, чтобы скрыть благоговейное дрожание.

* К этому месту сделана вставка, написанная рядом, на обороте предыдущего листа: И вот как это случилось. Рассказать, как Володя Осьмухин, Толя Орлов и Жора Арутюнянц обнаружили, что в парке шрифты откопаны немцами и как они день за днем подбирали его остатки, вместе с землей, просеивали и как создали печатный станок с помощью отца Жоры, столяра (отец Жоры, правда, «не взялся за оружие», как предполагал Жора, но все же был вовлечен сыном и т. д. ...). И тут приходит Евгений Стахович.

(Мать, та не только не взялась за оружие, а отец, очень тихий человек, предупредил Жору, чтобы он ничего не говорил матери.

— А не то, дорогой мой сынок, она нам всю нашу типографию разорит, да еще надает и нам по голове этими планками, когда узнает, что мы с тобой затеяли. Не потому, что она плохой человек, дорогой мой сынок, а потому, что она женщина резкая, вспыльчивая и будет очень бояться за мое и особенно твое благополучие. А меня она при всем уважении ко мне как к твоему отцу и вовсе изувечит, когда увидит, что я не только не удержал тебя, а сам...).

** В начале главы дается текст клятвы молодогвардейцев, в основном совпадающий с печатным текстом первой редакции.

Еще вчера они были просто случайные школьные товарищи, Сережа, Ваня, Люба, Женя, беспечные и озорные, и вот каждый из них словно простился с собой прежним, они смело разрывали прежнюю беспечную и безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь — дружбы идейной, дружбы по организации, дружбы по крови, которую каждый поклялся пролить во имя своего революционного долга.

В условиях самого тяжкого из подполья, какие только знал мир, они бесстрашно объявляли себя штабом движения, которого еще не было и которое уже существовало, они брали на себя ответственность стать его организующим центром и его душой.

Текст клятвы, написанный Олегом и Ваней Земнуховым и утвержденный их товарищами, в тот момент, как они произносили его, уже перестал быть их творением, он отделился от них и стал над ними, более суровый и непоколебимый, чем закон.

И когда последний из них произнес последние слова клятвы, они, суровые, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели друг друга, стали пожимать друг другу руки и поздравлять друг друга с началом существования «Молодой гвардии».

— Нет, Ваня, подумай только, только подумай, — с наивным и счастливым выражением говорил Олег, обнимая Земнухова. — «Молодая гвардия» существует! Отныне наша жизнь принадлежит не нам, она принадлежит делу комсомола, делу партии, всего народа!

На мгновение они стали как бы прежними и по-детски радовались тому, что стали другими.

Они собрались на квартире Кошевого, воспользовавшись тем, что Елена Николаевна и дядя Коля отправились на несколько дней в район, где жила родня Марины, обменять кое-какие вещи на хлеб, а бабушка Вера по просьбе Олега увела тетю Марину с маленьким сыном в сарай. Олег сказал бабушке Вере, что ребята придут на вечеринку, и бабушка Вера сделала вид, что поверила.

И эта большая комната в квартире Кошевых, вновь обретшая свой прежний вид, с диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны, со множеством взбитых подушек, укрытых кружевной накидкой, — эта комната, такая же, как и во всех стандартных домах, одновременно напоминала им и прежнюю беспечную жизнь под родительским крылом и была уже конспиративной квартирой, где они вступили на новый, самостоятельный путь борьбы. Это мгновение детского радостного возбуждения вспыхнуло и прошло. Лицо Олега снова слегка побледнело и стало серьезным. Он подошел к столу, на котором стояла одна бутылка с водкой, другая пустая, кружки, тарелки без всякой закуски, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, сел за стол. И все, смолкнув, с серьезными лицами тоже присели к столу и на диван и молча смотрели на Олега.

Он открыл страничку, где условными обозначениями было записано у него все, что им предстояло сегодня решить.

— Мы должны выбрать командира. — сказал он.

В сущности обо всем этом уже было переговорено между ними. Но теперь они уже были организацией, они должны были это постановить.

— Туркенича... Ваню Туркенича... — раздались тихие голоса. <...>

— Может быть, ты хочешь что-нибудь сказать? — спросил Олег Туркенича.

— Нет, чего же...

Он не был смущен своим избранием, Ваня Туркенич, он был уже готов к этому, но он был так естественно, природно скромнен и так не любил



А. А. ФАДЕЕВ НА ОХОТЕ

Фотография, 1949 г.

Литературный музей, Москва

слов, что все с симпатией и с улыбкой взглянули на него, а он сидел, ни на кого не глядя, со своей военной выправкой, стройный, светлоглазый, с лицом необыкновенной чистоты и мужественности выражения.

— Теперь нам нужно утвердить комиссара...— сказал Олег.— Поскольку выдвигается моя кандидатура, я попрошу Земнухова взять на себя председательствование...

— Есть другие кандидатуры? — спросил Земнухов.

— Ребята, да бросьте вы эту волынку,— вдруг сказал Сережка,— мы же договорились! Голосуй!

Все засмеялись.

— Товарищи! Я хочу вас предупредить, что отныне на всех документах «Молодой гвардии» моя подпись будет «Кашук»,— сказал Олег.— Я прошу в обращениях ко мне и в разговоре с другими людьми, если это потребуется, употреблять только эту кличку...

Олег взял эту кличку в память отчима, умершего за два года до войны. Кашук — это была его, отчима, фамилия, в прошлом заведующего земельным отделом в Каневе, а в молодости довольно известного на Украине партизана. С этим именем у Олега было связано много героических страниц прежней партизанской борьбы против немцев и все то мужественное воспитание — с работой на поле, с охотой, лошадьми, душегубками на Днепре,— которое дал ему отчим. Мать Олега переехала к родным в Краснодар после смерти Кашука, и фамилия эта была неизвестна здесь.

При всей наивной прямолинейности заявления Олега оно было воспринято всеми совершенно серьезно.

— Я предлагаю на рассмотрение штаба организационный план построения «Молодой гвардии»,— продолжал Олег.— Для большей мобильности и в целях конспирации я предлагаю организацию по пятеркам... Каждый член пятерки знает только ее и ее руководителя и больше — никого. Руководители пятерок не должны знать состав членов штаба, они должны быть связаны с одним из членов штаба, организатором, которого нам нужно будет выделить, но я, забегаая вперед, сказал бы, что для этой цели наиболее подходит Ваня Земнухов,— он как старый активист в районе знает всю молодежь...

— Точно,— сказала Любка.

<...>

Потом они приняли постановление о том, что Ваня Земнухов примет клятву «Молодой гвардии» от руководителей пятерок. А члены пятерок дадут ее на собрании своей пятерки в присутствии руководителя.

— Переходим к выделению организаторов пятерок,— сказал Олег.— Может быть начнем с Первомайки? — и он весело посмотрел на Улю.

Уля встала с тихо опущенными вдоль тела руками, и вдруг на всех лицах незаметно отразилось то прекрасное чувство, какое в чистых душах не может не вызвать женская, девичья красота.

— Организаторы пятерок на Первомайке Толя Попов и я... Но мы думаем, что у нас будет больше пятерок и предлагаем еще Виктора Петрова и Майю Пегливанову,— сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом.

— Это правильно,— поддержал ее Земнухов.

И Люба присоединилась к нему: она не знала ни Виктора, ни Майи, но с того первого заседания на квартире Туркенича она подружилась с Улей, и теперь, когда Уля говорила, Любка едва сдерживала волнение за свою подругу.

— Но мы не можем взять на себя Восьмидомики и весь остальной район возле первой-бис, хотя он тоже относится к нам: там много шахтерской молодежи, которая не учится, и мы ее не знаем,— продолжала Уля.— Я предложила бы поручить этот район Оле Иванцовой и Любе...

— Ну, что ты право! — смутилась Любка и замахала своими беленькими ручками: ей в самом деле трудно было представить себя каким-то там еще организатором.

Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела: в одно мгновение она перестала быть вольной певучей пташкой, а стала организатором, и ей это понравилось.

Они выдвинули руководителями пятерок по школе имени Ворошилова Володю Осмухина, по школе имени Горького Жору Арутюнянца, по центральному району — Евгения Стаховича. Потом Олег предоставил слово для сообщения Сереже Тюленину.

Сережка встал и очень смутился: он еще никогда в жизни не делал никаких сообщений.

— У меня их даже два,— хмуро сказал он, вытянув свои как бы подпухшие губы.

И всем вдруг стало так смешно от того, что он так сказал, что некоторое время ему не давали говорить, а потом он сам рассмеялся.

— Нет, в самом деле, Олег, я о поселке Краснодоне потом скажу,— сказал он, переходя от официального на свой естественный тон обращения и от этого сразу почувствовав себя в своей тарелке,— я хочу сказать об этом Игнате Фомине. Да неужто мы будем терпеть, чтобы эта сволочь

ходила по нашей земле и предавала наших людей? Известно, что этот Иуда выдал Остапчука, и сколько еще народа из замученных и расстрелянных шахтеров лежит на его совести!

С того времени, как шестьдесят восемь заключенных красnodонской тюрьмы были живыми закопаны в землю, прошло уже более двух недель, но Сережка Тюленин, как и никто из ребят и вообще жителей Краснодона, не знал обстоятельств гибели заключенных красnodонской тюрьмы. Официально жандармерия и полиция отвечали на запросы родных, что все заключенные вывезены в Ворошиловград. По прежнему опыту люди знали, что на немецком языке вывезти в Ворошиловград означало вывезти после допросов и пыток в Верхнедуванную рощу и там расстрелять. Так же думали и ребята.

— Неужто мы не отомстим ему? Я что предлагаю? Я предлагаю его убить,— сказал Сережка,— поручите это мне. А если не поручите, я его все равно убью,— сказал он, и всем вдруг стало ясно, что этот маленький босоногий паренек, почти мальчик, с этими чуть выдававшимися вперед, словно подпухшими губами, действительно убьет Игната Фомина.

Лицо Олега стало очень серьезным, он молчал, раздумывая, и крупные продольные складки легли на его лбу. И все члены штаба тоже молчали.

— А что,— он правильно говорит,— сказал доселе молчавший Ваня Туркенич спокойным тихим голосом,— Игната Фомина как заклятого предателя наших людей и врага Советской власти надо повесить. Повесить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди, и оставить на груди плакат — за что он повешен. Чтобы другим неповадно было. А что в самом деле? — сказал он с неожиданной для него жестокостью в голосе.— Они с нашими людьми поступают еще хуже немцев! Как командир отряда я беру на себя это дело. Поручите его мне и Тюленину...

После того как Туркенич поддержал Тюленина, все почувствовали, как в душе у них словно что-то отпустило. Как ни велика была ненависть к немцам и предателям в их сердцах, все они были еще очень юны, и с предложением Тюленина они в сущности впервые почувствовали, что они вступили на путь борьбы кровавой и беспощадной, что они должны будут заниматься не только такими делами, какие они с легкостью решали до сих пор, а убивать людей, и их тоже будут убивать, и им трудно было переступить это. Но их командир сказал свое веское слово. Это был их старший товарищ, взрослый человек, командир Красной Армии,— значит это так и нужно, иначе нельзя.

— Я поставлю на голосование сначала предложение Туркенича и Тюленина о Фомине, а потом кому поручить,— сказал Олег.

— Да ведь вопрос ясен,— сказал Стахович.

— Да, вопрос ясен, а все-таки я поставлю отдельно на голосование вопрос о Фомине,— сказал Олег с настойчивостью. — И я не скрою, почему я считаю необходимым это сделать. Мы должны быть очень откровенны и принципиальны в таких вопросах. Я почувствовал, что когда Сережа внес это предложение, многие товарищи почувствовали колебание в сердце. А мы только что дали клятву мести. И мы должны понять, что это не фраза, не игра, это борьба не на жизнь, а на смерть. Я ставлю вопрос о Фомине на голосование, чтобы каждый окончательно решил в своей душе не только этот вопрос...

Да, это была уже не игра, и каждый снова решил в душе этот вопрос. В суровом молчании они проголосовали вопрос о повешении Фомина и поручили осуществить это дело Туркеничу и Тюленину с помощью тех из ребят, кого они сочтут нужным привлечь.

— Вот это правильно решили, вот так с ними и надо поступать, со сволочами, пусть они, гады, нас боятся, а не мы их! — со страстным блеском в глазах говорил Сережка. — Я перехожу к второму сообщению... <...>*

Бабушка поставила им чаю и сама закрыла ставни, и зажгла коптилку, и снова ушла к Марине в сарай. Теперь, когда они остались одни, при чадающей коптилке, колеблющийся свет которой выделял из темноты полностью только лица сидящих за столом и посуду на столе, а уже сидящих на диване можно было отличить только по какой-либо детали лица или одежды или по руке в момент жестикуляции, а углы комнаты вовсе тонули во мраке, и две остальных комнаты и кухня, неосвещенные, и темный город вокруг них создавали ощущение полнейшей тьмы вокруг, — теперь они действительно походили на заговорщиков. И они сами не заметили, как начали говорить пониженными голосами, склоняясь лицами друг к другу, и все это вместе еще больше создавало вокруг них обстановку таинственности.

Олег предоставил слово для сообщения Уле Громовой.

Она встала в прежней позе, с опущенными вдоль тела руками, и вдруг ей изменило обычное самообладание, настолько то, о чем она должна была говорить, было для нее большим личным горем.

— Завтра утром, часов в одиннадцать, выступает из Краснодона первая партия людей, насильственно угоняемых в Германию, более двухсот человек, большей частью молодых и большей частью девушек, — сказала она, не в силах скрыть своего волнения. — Можно не сомневаться, что за этой партией последует вторая, третья, еще более крупные, если мы не сделаем всего, чтобы их сорвать. Мне кажется, что среди всех важных дел и мероприятий, которые мы наметили провести в ближайшее время, это для нас наиболее важное и наиболее осуществимое. Я знаю очень хорошо, — подчеркнуто сказала Уля, и голос ее дрогнул, — я знаю очень хорошо, что среди этих людей ничтожное количество поверивших немецким вербовочным плакатам и всей их лживой агитации, — большинство попало сюда обманом, по неопытности, неумению бороться, просто коварным насилием... Если бы мы организовались и развернули агитацию среди наших людей, особенно молодежи, против отъезда в Германию, разоблачали коварные методы вербовки, использовали все способы, как обойти мобилизацию, организовали, наконец, массовые побеги, — и первая партия не была бы так велика. Вряд ли мы сумеем что-либо сделать, чтобы теперь спасти этих людей. Но трудно найти более удачный момент для нашего первого выступления. Мы должны и среди угоняемых, и среди провожающих, и вообще в людных местах распространить нашу первую листовку, направленную против немецкой мобилизации на работу в Германию. По предложению Олега, я написала такую листовку. Я ее зачитаю...

Уля, не стесняясь присутствующих, вернее даже не предполагая, что этого можно стесняться, запустила тонкие свои пальцы за кофточку под бюстгалтер и вынула крохотную, сложенную вчетверо бумажку, испи-санную очень <?> мелко, и, нагнувшись к коптилке, прочла листовку вслух.....**

Некоторое время все молчали. Никто из них не писал листовок. Туркенич, Сережка и Любка совершенно не представляли себе, хорошо ли это или плохо. Только Олег, Ваня Земнухов и Стахович могли судить об этом. Олег попросил Улю прочитать листовку еще раз, и они трое ста-

* Опушен близкий к печатному тексту 35-й главы фрагмент, в котором идет речь о втором сообщении Тюленина по поводу организации группы молодежи в соседнем поселке.

** В рукописи пропуск, обозначенный многоточием.



А. А. ФАДЕЕВ, А. О. СТЕПАНОВА, А. Е. КОРНЕЙЧУК и В. Л. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фотография, Одесса, 1948 г.

Литературный музей, Москва

ли вносить различные мелкие поправки, все более увлекаясь этой коллективной литературной работой.

— А ну, прочти еще раз, — сказал Ваня, уставившись очками в стол: при этой копилке он решительно ничего не видел, а только слышал. — Вот видишь! Куда как острее стала! Я вообще хочу сказать о листовках. Нам придется их выпускать очень часто. По-моему, они должны быть очень короткие, простые, даже грубоватые, чтобы прямо били: «Долой гитлеровские двести грамм, да здравствует сталинский килограмм!» К примеру, когда мы обсуждали вопрос о Фомине, мне пришла в голову мысль, что еще до того, как осуществится наша кара над ним, мы должны выбросить листовку «полицаям», старостам и всем, кто пошел на службу к немцам, с предупреждением, что за предательство они будут расплачиваться головой — и не когда-нибудь потом, а немедленно. Я набросал такую листовку...

— В стихах? — с усмешкой спросил Стахович.

— Нет, прозой и к тому же самой грубой: «Господа полицейские и старосты! Вы продались немцам за кусок колбасы, за глоток водки и пачку махорки. Помните: вы все у нас на учете! Помните: за каждое предательство снимем с вас голову. Трепещите, немецкие сторожевые псы!» Подпись: «Молодая гвардия».

— Это листовка! Ее бы тоже завтра выбросить... Завтра их, этих псов, в аккурат очень много будет на улицах! — поблескивая смеющимися глазами, сказал Сережка.

— Но Уля правильно сказала: завтра первый день, как наша организация выступит перед народом, — продолжал Ваня, — и для первого дня мы не можем ограничиться только такими листовками. Мы должны выступить в городе как бы с декларацией: кто мы такие, чего хотим...

— Слушайте, товарищи, да где ж мы все это к завтраму напечатаем? — наивно спросила Любка.

Только Олег и Ваня знали, что Володя Осьмухин с товарищами выкопали в парке шрифты типографии, которые хранятся частью у Володи, частью у Жоры Арутюнянца. Но в каком состоянии шрифты, сколько их и когда и как можно будет смастерить хотя бы самый примитивный печатный станок, это они не знали.

— Когда кончится заседание, мы ножки промнем по комнате и снова сядем за этот стол и будем все это писать от руки: ночь велика, — сказал Ваня с усмешкой.

И тут же прочел листовку, которой суждено было стать декларацией «Молодой гвардии».

Им предстояло заслушать последнее, самое интересное и важное сообщение, сообщение Любки о ее поездке в Ворошиловград, где, как это уже было известно членам штаба, ей удалось установить связь с областным и городским подпольем.

А Любка вышла к столу и вдруг вспомнила весь свой путь туда и обратно, полный таких невероятных опасностей и приключений, и ей показалось очень смешным и странным, что она должна будет рассказать не о тех опасностях и приключениях, какие составляли для нее главное содержание ее поездки, а о тех разговорах, которые она вела в Ворошиловграде и которые при всей их важности были самыми обыкновенными разговорами.

Она, прищурившись, посмотрела на свет коптилки и засмеялась.